

## ПРИКОСНОВЕНИЯ ПАМЯТИ. ЗАПИСКИ СТАРОГО ВРАЧА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

А.А. Карпеев

*Национальный совет по гомеопатии (г. Москва)*

### Touching memory. Notes of the old doctor (continuation)

A.A. Karpeev

*National Council for Homeopathy (Moscow, Russia)*

*«Москва, Москва!... Люблю тебя как сын,  
Как русский, – сильно, пламенно и нежно!»  
М.Ю. Лермонтов*

Большая часть моего отрочества прошла в подмосковной Истре. Точнее, в военном городке, расположенном километрах в пяти от этого районного центра. Военный городок – очень своеобразное, необычное образование, поселение. Наш городок был создан в начале 50-х в системе противовоздушной обороны столицы и состоял из двух частей – солдатской (казарма) и офицерской (две улицы так называемых финских домиков, общим числом около тридцати). В солдатской части размещались командование (штаб), классы для учебы и политико-просветительской работы, клуб, библиотека. На одной из улиц (по соседству с домом, в котором жила наша семья) был магазин-военторг, где обитатели городка регулярно покупали хлеб. Что касается других продуктов и товаров, то они как-то не запечатлелись в детской памяти, за исключением двух больших полок, уставленных банками крабов и двух бочек с красной и черной икрой – эти товары почему-то совершенно не пользовались спросом (и не только у обитателей городка). В клубе каждым воскресным вечером показывали кино (для солдат и детей – бесплатно). В доме, где проживала семья главного инженера части майора Владимира Ионовича Кузьмича, молодого красавца (ему еще и тридцати не было), я впервые увидел телевизор – это было в 1954 году. Показывали какой-то фильм (по-моему «Венгерские мелодии», но он не запомнился – все затмило восхищение техникой).

Заметную роль в нашей детской жизни играл великолепный стадион, находившийся в пределах городка. Настоящее футбольное поле, беговые дорожки, небольшие трибуны

для зрителей, баскетбольная площадка (вольбольная размещалась вне стадиона) предоставляли нам огромные возможности для занятий спортом.

Ежегодно, 18 августа, гражданских обитателей городка, в первую очередь, детей, возили на расположенный по той же рижской дороге Тушинский аэродром, где проходили авиационные парады. Это было зрелище! Отчетливо помню один из таких дней: яркое солнце, синее безоблачное небо, группа снежно-серых самолетов, образовавших в небе слова «Слава Сталину» и голос диктора: «Колонну возглавляет генерал-майор авиации Василий Сталин». Вся обратная дорога в городок была заполнена необычайным детским восторгом.

Детей в городке было немного, человек пятнадцать, разного возраста. Все мы учились в истринской школе имени А.П. Чехова. В любое время года, в любую погоду (за исключением больших морозов – за минус двадцать пять, тридцать, но они случались редко) мы двумя кучками (первая и вторая смены) шли через лес в Истру, в школу. Самым старшим из нас был Толя Домашенко, прирожденный вожак, не по годам взрослый в суждениях и обладающий необыкновенной физической силой. Ростом он был не выше остальных, но по силе мы были по сравнению с ним хилыми слабаками, хотя свое физическое преимущество он никогда не использовал.

Весной 1956 года мы сидели с Толей у него дома и обсуждали его решение поступать в авиационный институт. Собственно, само решение не обсуждалось, выбиралось место будущей учебы. Московский институт (МАИ) он почему-то отверг сразу и выбирал (по справочнику) между Куйбышевским и Казанским институтами. Я, будучи патриотом Куйбышева (в этом городе жили почти все мои родственни-

ки по отцовской и материнской линиям, я часто бывал у них в гостях, да и жили мы там с мамой в период командировки отца в Австрию почти два года). Я рассказывал Толе про этот красивый большой город, про Волгу, строящуюся набережную, два театра, знаменитый памятник Чапаеву, футбольную команду «Крылья Советов». В наш разговор неожиданно вмешался отец Толи, Митрофан Никонович, которого я очень уважал за степенность и рассудительность: «Ты, наверное, агитируешь за Куйбышев, потому что на следующий год собираешься туда ехать учиться?» На что я твердо ответил: «Нет! Я буду поступать только в 1-й Московский ордена Ленина медицинский институт имени И.М. Сеченова!» И я не выдумывал, я к тому времени это уже твердо решил.

А Толя принял решение в пользу Казани, поступил в авиационный институт, успешно его окончил, до сих пор работает в космической отрасли, являясь одним из ведущих отечественных специалистов в криогенной науке и технике.

Наша семья этим летом переехала в Калугу, там я на следующий год окончил среднюю школу №7, и мечта о Москве стала ближе.

Вы не задумывались над вопросом: как человек ощущает свой возраст? По физическому состоянию? Отнюдь. Холодно. По стареющим близким? Теплее. По быстро растущим детям и подрастающим внукам? Еще теплее. По ушедшим навсегда родителям, родственникам, друзьям? Почти горячо. Но самое горячее это даты. Недавно ехал по городу, а навстречу пролетали плакаты (не люблю слово баннеры), поздравлявшие жителей с 873-летием Москвы. И на этом седом фоне я отчетливо ощутил свой возраст – ведь я отлично помню 800-летие столицы.

Мы жили тогда в Ульяновске, но юбилей главного города страны был праздником общенародным. При том, что подавляющая часть советского народа в те времена знала о столице только понаслышке. Как пел Марк Бернес в хорошей песне Никиты Богословского (впоследствии переделанной им для кинофильма «Большая жизнь» в победный марш шахтеров): «... письмо в Москву, в далекую столицу, в которой я ни разу не бывал». В сентябре 1948 года мы пришли в школу после первых в жизни каникул и нас потрясло сообщение нашей учительницы Валентины Ивановны о том, что ученик нашего класса Стасик Блажиевский (вот, я даже имя его и фамилию навсегда запомнил) летом побывал в Москве. Он ничего не рассказывал, мы ничего не спрашивали, просто дня три ходили за ним толпой и счастливы даже ухитрились до него дотронуться.

А меньше, чем через год счастье побывать в Москве выпало и мне. Мой отец, офицер Красной Армии, после ранения нес службу в Ульяновском танковом училище и в победном 45-м поступил на заочное отделение Военно-политической академии имени В.И. Ленина. В начале лета 1949 года начальство Академии разрешило слушателям пригласить на выпускной вечер жен, и мы с мамой отправились в столицу.

Ожидание чего-то необыкновенного затмевало все мои мысли, поэтому дорогу не помню совсем. Не помню и Казанский вокзал, на котором нас встречала жена моего дяди, даже первую поездку на метро от Комсомольской до Кировской (семья дяди жила на Чистопрудном бульваре) помню очень смутно. Остаток дня как в тумане, ночь – в трепетном волнующем предчувствии.

Наконец, утром мы с мамой в сопровождении гостеприимной тети Иры (супруга моего дяди Василия Яковлевича Карпеева, полковника Главного политического управления Красной Армии, была необыкновенной женщиной, на долю которой выпала нелегкая доля встречать в столице многочисленных родственников как Карпеевых со стороны мужа, так и Данилевских со своей стороны, сопровождать их в походах по достопримечательностям и, конечно же, по магазинам, проявляя при этом потрясающую тактичность и доброжелательность) вышли из шестиэтажного (казавшегося мне огромным) дома, прошли проходным двором в Потаповский переулок, а по нему – на стык улиц Чернышевского (ныне – Покровка) и Богдана Хмельницкого (ныне – Маросейка). Проходя по последней, миновали гастроном, который местные жители называли Стеклянным (видимо из-за больших стеклянных витрин), Армянский переулок. Прошли Старую площадь и по улице Куйбышева (сейчас Ильинка) дошли до тыльной стороны ГУМа. И вдруг в просвете между домами мелькнул маленький кусочек Кремлевской стены. У меня еще сильнее заколотилось сердце. Еще полсотни шагов, и мы вышли на Красную площадь. От волнения я не мог охватить взглядом всю площадь и медленно поворачивал голову: Спасская башня, куранты, знакомые по фильмам и фотографиям ворота, Мавзолей, часовые, здание Исторического музея. И только когда я вернул свой взгляд к курантам, впервые осознал, что это не сказка, что я на самом деле все это вижу наяву, что я действительно в Москве и что я самый счастливый человек на свете!

Помню и другую Москву. Это март 1953 года. Мы уже жили в Истре, и все первые дни месяца

у жителей городка не было более важной темы, чем болезнь Сталина. Слушали по радио сообщения о состоянии его здоровья, и даже нас, детей, не покидало предчувствие надвигающейся беды. Ранним утром 6 марта наша семья не спала. Отец нервно ходил по комнате, мы с мамой и гостившим у нас братом отца Никифором Яковлевичем подавленно молчали. Наши взгляды были прикованы к висящему на стене репродуктору. Когда в шесть часов прозвучали позывные Москвы и Левитан скорбным голосом произнес «Дорогие товарищи и друзья!», отец, закрыв руками лицо, выдохнул «Все!» Заплакала мама, захлюпал носом дядя, ощущение огромного несчастья сдавило мне горло. Через день мы с мамой поехали в Москву. Выйдя из здания Рижского вокзала, мы оказались в очень непривычном городе: здания были увешены траурными флагами, количество людей на улицах резко уменьшилось, даже интенсивность привычного московского уличного гула намного сократилась. Но самое бросившееся мне в глаза – рекламные тумбы, прежде пестревшие разнообразными афишами, были все как одна заклеены ослепительно белой бумагой, что, учитывая их изрядное количество, создавало навязчивое впечатление бельма на глазах московских улиц...

Конечно, попасть в Колонный зал Дома Союзов, где поместили гроб с телом вождя, мы и не думали, к тому времени уже просочились слухи о кошмарных жертвах непродуманной разгильдяйской системы организации прощания. Поэтому мы сразу поехали на Чистые пруды, где тетя Ира нас тепло встретила и сразу рассказала, что даже однокласснице ее дочери Тамары, Вере Кондаковой, вручившей Сталину букет на трибуне Мавзолея во время праздничной ноябрьской демонстрации 1952 года, и известному фотокорреспонденту, задумавшему сделать символический снимок девочки-пионерки у гроба вождя, не удалось пройти в Дом Союзов. Как потом выяснилось, снимок пионерки с букетом цветов у тела Сталина все-таки был сделан, но это была другая девочка.

Утром 9 марта мы по знакомому маршруту вышли на улицу Богдана Хмельницкого. Улица была запружена народом до такой степени, что продвинуться хотя бы до Армянского переулочка было невозможно. Из установленных на крышах репродукторов звучала траурная музыка. Ровно в 10 часов началась траурная церемония. Выступили Маленков, Молотов, Берия. Затем голос Левитана оповестил о том, что члены Правительственной похоронной комиссии подняли гроб и понесли его в Мавзолей. Раздался артиллерийский залп. Одновременно

с ним по улице прокатился многоголосый человеческий стон, щемящий, леденящий душу, продолжительный. Почти семьдесят лет прошло, но этот стон до сих пор стоит у меня в ушах, и когда я слышу или читаю о том, что народ не любил Сталина, вспоминаю и, как наяву, слышу этот стон. Вспоминаю и мужчин, стоявших в течение всей церемонии без головных уборов, а ведь мороз был изрядный.

Незабываема Москва радостная. Апрель 1961 года. Двенадцатого апреля Юрий Гагарин полетел в космос. Мы оживленно обсуждали эту новость. А четырнадцатого, придя в институт, мы услышали, что занятий не будет – желающие могут пойти на Красную Площадь встретить первого космонавта. Что значит желающие? Желающими были все! Мы построились около института в большую колонну и совсем уже приготовились двигаться, как поступило предложение: надеть белые халаты. День был солнечный, очень теплый, пальто и плащи не требовались, поэтому предложение было принято единогласно, и с восторгом. Белая колонна пошла по Большой Пироговской, миновала Зубовскую площадь и выдвинулась на Кропоткинскую улицу. Шли с песнями, пели и свои, студенческие, и комсомольские. На балконах домов стояли люди (в основном, пожилые и старые) и приветственно махали нам руками. Из распахнутых окон тоже что-то радостно кричали навстречу нам. Восторг переполнял всех. Валера Шихверг, наш одессит, извечный нигилист и диссидент, размахивал руками и восторженно орал свою любимую «Есть в Ботавии маленький дом», удачно заменив слова так, что получилось: «Дорога в жизни одна, ведет всех в космос (!) она!», а мы, захлебываясь от переполнявшей нас радости, вторили ему. Кстати, глядя на ликующего Валерку, из уст которого до этого я часто слышал сугубо рационалистические воззрения на жизнь, не свойственные другим моим сверстникам, я впервые осознал значимость произошедшего.

Пройдя по Волхонке, наша колонна свернула к библиотеке им. Ленина («Ленинке», как все тогда ее называли), прошла мимо Манежа и восторженным гулом встретила нашу «альма матер» – физиологический и анатомический корпус 1-го МОЛМИ, где прошли наши самые трудные два первых года обучения. Перед поворотом на Красную площадь нас остановили – желающих встретить первого космонавта было столь много, и они такими мощными потоками шли со всех сторон, что образование очереди было неминуемым. Так, ожидая своей очереди, мы простояли около двух часов, которые на фоне общего веселья и торжества

пролетели очень быстро. Наконец, мы двинулись и уже через несколько минут оказались перед Мавзолеем. На нем стоял Юрий Гагарин (Хрущев, как нам объяснили позднее, ушел отдохнуть), махал нам рукой и улыбался своей необыкновенной, единственной в мире, улыбкой. Шестьдесят лет прошло, но эта улыбка, растиражированная впоследствии по всему миру, до сих пор отчетливо стоит у меня перед глазами, являясь главным компонентом воспоминаний о самом счастливом дне моей московской жизни. Мы громкими криками «Ура» приветствовали героя, хотя наши голоса были уже довольно охрипшими от многочасового пения и других звуковых выражений восторга.

Помню Москву протестующую. Это, конечно, не о Болотной площади и не о десятках протестных демонстраций девяностых. В тот период об этом не могло быть и речи. Тогдашние протесты были направлены против внешнего врага. Первые я столкнулся с этим в 1959 году.

Я тогда снимал койку у симпатичной семьи пенсионеров в Курбатовском переулке (ныне ул. Климашкина). Вечером, возвращаясь из института по Большой Грузинской улице, увидел у здания посольства (или консульства?) Западной Германии (так мы называли ФРГ) возбужденную толпу народа, протестующего против каких-то действий ее правительства. Я подошел в тот момент, когда кто-то из протестующих швырнул в здание (это небольшой двухэтажный особняк, в настоящее время рядом с ним расположена студия скульптора Церетели, и все пространство снаружи уставлено произведениями плодовитого мастера) бутылку кефира. Это было с восторгом встречено толпой, выбившей до этого все окна. Кто-то сбегал в расположенный неподалеку продуктовый магазин, принес еще пару бутылок с кисломолочным продуктом и смачно разбил их об стену. Пока в толпе живо обсуждался вопрос о следующем гонце в магазин, со стороны гастронома раздался дребезжащий звук, и мы увидели, что к нам мчится торговая тележка, заполненная ящиками с кефиром. Продавец в белом халате, всеми своими действиями опровергавший устоявшееся мнение о неповоротливости советской торговли, в мгновение распродал весь товар, который тут же превратил фасад здания в кефирную реку. Милиция, плотным строем стоящая перед зданием и никак не препятствовавшая проявлению народного гнева, с удивлением взирала на кардинальное изменение окраса здания. Примечательно, что утром следующего дня по дороге к станции метро я прошел мимо этого здания – оно было свежесмытым, и ничто вокруг не напоминало о событиях предыдущего вечера.

Осенью 1962 года разразился так называемый «Карибский кризис». Вся наша страна с огромной симпатией относилась к молодой Кубинской Республике и очень болезненно воспринимала давление на Кубу со стороны США, которые поздно осознали потерю важнейшего плацдарма вблизи своих берегов и постоянно предпринимали агрессивные попытки свергнуть правительство Фиделя Кастро. Советский Союз под видом гражданских грузов завез на остров ракеты, в том числе с атомными боеголовками. Этого США, конечно, стерпеть не могли и в ультимативной форме потребовали их вывода. Мир стоял на грани атомной войны. В Вашингтон срочно прилетела советская правительственная делегация, и начались трудные переговоры.

А в Москве у здания американского посольства на улице Чайковского прошла мощнейшая демонстрация протеста. Занятия в институтах были отменены (студенты и рабочие некоторых заводов составили основную массу протестующих). Организованного шествия не было, просто объявили, что все желающие выразить протест, могут поехать к месту проведения акции (впрочем слово «акция» тогда не было в ходу). Мы с моим другом Толей Костенко приехали на место часов в одиннадцать. Все пространство перед посольством было заполнено народом. В руках у многих плакаты с надписью на русском, английском, испанском языках: «Куба – да! Янки – нет!» Толпа скандирует: «Кеннеди – позор!». Джон Кеннеди – президент США, и через год мы все будем сочувственно слушать о подробностях его убийства. Ну, а пока – он главный виновник, зачинщик происходящего, именно он олицетворяет агрессию, поэтому именно ему главный кнут, именно ему – позор!

Пробираемся сквозь толпу поближе к посольству. Оно окружено двойным кордоном: непосредственно у здания – конная милиция, проход к зданию преграждает шеренга солдат внутренних войск. Окна в здании разбиты вплоть до пятого этажа, выше камни не долетают. В окнах шестого этажа можно заметить осторожные передвижения людей, иногда с фотоаппаратами, но выглянуть никто не решается. Вдруг на балкон второго этажа выскакивает человек с фотокамерой и истошно кричит: «Я свой! Я русский! Хочу вас сфотографировать!» В него летит град камней («свой не свой – на дороге не стой!»), он еле-еле успевает увернуться и скрывается в здании.

Народ все прибывает. Толпа как живой организм – шевелится, перетекает из одной части пространства в другое. Нас с Толей вы-

носит прямо к солдатской цепи, прижимает к ней. В меня руками упирается молоденький щуплый солдатик: «Ну, куда! Отойти хоть немного, не дави!» Пытаюсь объяснить ему, что на меня давят не меньше, чем на него. Вдруг толпа как по команде затихает. Группа молодых кубинцев поднимает на руках оратора – он юн, бородат, со впалыми щеками, горящими глазами, из которых струей льются слезы. Типичный пассионарий, готовый хоть сейчас отдать жизнь за родную страну. Голос чуть-чуть хрипловатый, надрывный. Речь короткая, в конце непереносимое: «Патриа о муэрте! Венцеремос!» Ему веришь беспредельно. Да, да! Именно так! Родина или смерть! Мы победим!

В толпе движение, порыв. Давление на солдатский заслон усиливается многократно. Солдатик, в которого меня вдавили, уже ничего не говорит, только пыхтит. Его удерживает только то, что его руки из последних сил держатся за руки его товарищей. Кажется, еще немного, и он упадет, не выдержав напора. В этот момент сзади солдатской цепи пробегает офицер, который в трех местах рубящим движением руки разрывает цепь, и избыток давящих мгновенно оказывается за линией солдат. Прорвавшись немного, человек пятьдесят, почти все – кубинцы, и кажется, что только мы с Толей представляем свою страну. Мы все объединяемся в одну группу и взявшись за руки вновь скандируем протестные лозунги. Толя достает из-за пазухи солидную каменюгу и бросает ее в здание. Камень долетает только до второго этажа, ударяется в просвет между окнами. Мы раздосадованы, особенно я, у меня был хороший бросок, и я уж наверняка попал бы в окно пятого, а может быть и шестого этажа.

В это время кубинцы со свойственным им темпераментом продолжают кричать и прыгать. А вот наш северный темперамент постепенно начинает сказываться, уже не так высоко прыгаем, не так громко кричим. В это время появляется группа офицеров, которые направляются к нам с очевидным намерением выдворить нас за пределы оцепления. Мы с Толей не возражаем и сами потихоньку двигаемся в сторону цепи. Но не таковы кубинцы. Чьи-то сильные руки схватывают нас, вталкивают в середину образовавшегося живого круга. Образовавшие этот круг как только офицеры подходят близко, быстро садятся на землю, сцепившись руками. Бесплодные попытки офицеров оторвать кого-нибудь от общей массы продолжаются недолго, и они, признав поражение, уходят. Мы же сразу вскакиваем на ноги и продолжаем громко протестовать. Так повторяется три раза. Наконец,

протестующие устают и позволяют офицерам расцезать их ряды и возвратиться за строй солдат. Меня бережно несут два молоденьких лейтенанта милиции, я пытаюсь показать, что могу идти сам, но один из них говорит: «Спокойно! Когда еще получится на милиции прокатиться?» Следом за мной приносят и Толю, офицер ласково приобнимает его за плечи и что-то говорит на ухо, видимо, в процессе его перемещения они успели подружиться.

Мы устали, не столько физически, сколько эмоционально, и поэтому решили ехать в общежитие, хотя митинг еще бушевал. Доехали на троллейбусе до столовой, пообедали-поужинали, прошли на Малую Пироговскую в общежитие, послонялись там, но обоих нас мучило какое-то чувство незавершенности, и, обсудив это, мы поехали вновь на Садовое кольцо.

К этому времени народа перед посольством заметно поубавилось, хотя оставшиеся продолжали митинговать и обличать, но делали это как-то вяло (то ли дело мы!). Мы свободно пробрались к солдатской цепи, но знакомых там уже не было. Подключаться к кричащей толпе что-то не хотелось, да и луженым горлом мы не обладали, говорили уже с заметной хрипотцой. По противоположной от посольства стороне улицы ездили милицейские УАЗИ-ки и через громкоговорители призывали собравшихся расходиться. Вдруг по толпе прошло шевеление. Кто-то громко сообщил, что на нас надвигаются поливальные машины. И они вскоре появились, неспешно двигаясь от Зубовской площади, занимая всю проезжую часть улицы. Паники не было, но народ быстро рассосался по близлежащим улицам и переулкам. Мы с Толей забежали в один из подъездов, где уже было человек тридцать-сорок. Машины, фыркая и плюясь водяными струями, проползли мимо. Мы вышли, прошли к троллейбусной остановке и поехали в общежитие. Утром я, как всегда, пошел на лекцию. Толя появился ко второму часу – оказывается, он ездил к посольству. Сказал, что никаких следов от нашего буйства не осталось, все стекла вставлены, территория чистая, охрана на месте.

Москва многогранна, многолика. И каждая ее грань достойна описания, зачастую восторженного, по крайней мере, неравнодушного. Вот, к примеру, два крупнейших международных события.

С 28 июля по 11 августа 1957 года в Москве проходил VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Предыдущие пять фестивалей проходили в столицах стран, именовавшихся тогда

странами народной демократии, – Праге, Будапеште, Берлине, Бухаресте, Варшаве – раз в два года, начиная с 1947 года. Мне довелось в течение нескольких дней быть и свидетелем, и в какой-то степени участником этого совершенно необычного для нашей страны праздника.

Запомнилась атмосфера всеобщего ликования, так созвучная настроению человека, у которого сбылась мечта об учебе в московском ВУЗе. Улицы, особенно в центре города, были заполнены толпами необычных для нас людей – белых, черных, желтых, в непривычных нашему глазу одеждах, говорящих на непонятных для нас языках, но одинаково радостных, приветливых, поющих. Песни помогали общению, чаще всего звучал «Гимн демократической молодежи» («Дети разных народов, мы мечтою о мире живем»). Интересно, что эта замечательная песня, слова которой написал Евгений Долматовский, а музыку Анатолий Новиков, сыграла еще и определенную лексикологическую роль в жизни нашего общества. Дело в том, что среди части населения упорно ходило произношение «мОлодежь» без «Ё» и с ударением на первом слоге. Все было бы не страшно, мало ли существует местнических отклонений от нормы, но когда все услышали такое из уст первого секретаря партии Никиты Сергеевича Хрущева, то специалисты встревожились а немалое число подхалимов подхватили чудовищное произношение. И тут – изо всех репродукторов: «Песню мира запевае молодежь, молодежь, молодежь, эту песню не задушишь, не убьешь, не убьешь, не убьешь!» Все встало на свои места.

Практически все время я проводил на недавно открывшемся огромном стадионе в Лужниках, смотрел обширную спортивную программу, да и сам участвовал в соревнованиях, устройствах для всех желающих. Наградой служил довольно большой значок, представляющий собой эмблему Фестиваля – пять континентов, скрепленных лентой и голубкой Пикассо. Два первых вида я прошел легко (бег на 100 метров и прыжки в длину были для меня привычными), а вот с третьим чуть было не вышла заминка – толкнуть ядро на 9 метров было для меня, учитывая мою хилую комплекцию, весьма проблематичным. Хорошо, что условиями соревнований была предусмотрена возможность замены этого упражнения на толчок штанги весом 50 кг. К счастью, еще в Истре мы, мальчишки, ведомые Толей Домашенко, часто ходили в солдатский спортзал и смотрели, как наш лидер «тягает железо», и сами иногда подражали ему. Поэтому я без труда справился с весом и получил желанную награду – довольно большой значок, который я, конечно же, поместил на лацкан пиджака вместе с несколькими

ми другими фестивальными значками. Мне они очень нравились, я их носил с гордостью, но в институте недели через две ко мне подошел однокурсник и на ухо прошептал, что я в этих значках похож на новогоднюю елку. Я не сразу, но понял и значки снял. Но один оставил. Это значок Первого МОЛМИ, который я приобрел перед вступительным экзаменом. Да как его можно было не купить, если весь институтский вестибюль был заполнен призывами: «Новичок, купи значок! и даже «Кто у нас значок не купит – в институт наш не поступит!» Я купил и поступил. Этот маленький прямоугольничек до сих пор хранится у меня рядом со значком об окончании Института.

Сейчас о Фестивале вспоминают редко, а если и вспоминают, то только по одному поводу. Упорно навязывается мысль о том, что этот всемирный праздник солидарности молодежи явился началом так называемой сексуальной революции в СССР. Не могу ничем подтвердить это. Если что-то и было, то оно никак не коснулось провинциального паренька. А вот потрясающая атмосфера дружбы, единения народов, безграничного доверия, теплоты, сердечности, уверенности в правоте общих интересов и дела – это осталось в памяти на всю жизнь.

И еще одно эпохальное московское событие осталось в памяти. В июле-августе 1980 года в Москве проходили XXII Олимпийские игры.

Я в то время работал в Калужском обкоме КПСС и о том, чтобы вживую посмотреть Олимпиаду даже не мечтал, хотя не особенно переживал по этому поводу, потому что все самое интересное смотрел по телевизору. Но вдруг в один из дней ко мне в кабинет зашел заместитель заведующего орготделом Михаил Васильевич Ходин и неожиданно предложил поехать на Олимпиаду. Дело том, что его хорошие знакомые из ЦК комсомола прислали ему два билета на олимпийский стадион, он уже пообещал сыну свозить его на соревнования, но выяснилось, что в этот день состоится какое-то внеплановое партийное мероприятие, на котором он обязан присутствовать. Так я стал обладателем заветного билета, и утром 29 июля мы с младшим Ходиным выехали на электричке в столицу.

Москва поразила невиданным – на улицах почти не было машин. Троллейбусы и автобусы вольготно чувствовали себя без конкурентов, но и их было немного. Мы проехали на метро до «Спортивной», вышли к стадиону и вот тут почувствовали бурление жизни. Люди сплошным потоком текли к спортивной арене. Мы побродили вокруг нее, потом прошли на трибуну. К сожалению, в легкоатлетических соревнованиях в

этот день был перерыв, но на беговых дорожках было много тренирующихся.

Затем на поле выбежали футболисты СССР и ГДР. Разыгрывался полуфинал турнира. Стотысячный стадион к этому времени был заполнен до отказа. Наши, конечно, являлись безоговорочными фаворитами. Футболисты ГДР имели репутацию крепкого середняка, но не более того. Наши сразу ринулись вперед, но получили отпор, откатились и снова... И так весь матч. Мяч в ворота немцев не шел. А те в одной из редких контратак забили гол. Время матча стремительно летело и закончилось. Разочарование большинства присутствующих, в том числе и нас, калужан, словами не передать. Скажу только, что за всю обратную дорогу в электричке мы не проронили ни слова. Утром я подошел к Михаилу Васильевичу, чтобы поблагодарить его за поездку, но он, фанатично любивший футбол, только сокрушенно махнул рукой.

Прощание с Олимпиадой стало для меня весьма неожиданным. Обычно я избегаю смотреть официальные церемонии открытия и закрытия мероприятий, не вызывают они у меня душевного подъема. Но в этот раз что-то потянуло меня к экрану. И я сразу был очарован замечательной песней «До свиданья, Москва!» Какое-то особенно чувствительное исполнение Анциферовой и Лещенко великолепного творения Пахмутовой и Добронравова сразу приковало к себе внимание. Когда камера остановилась на изображении олимпийского мишки, я замер в предчувствии чего-то необыкновенного. И чудо произошло! Из добрых медвежьих глаз выкатилась слеза! Это была гениальная находка людей, тонко чувствующих русскую душу. И не только русскую. Когда мишка улетал, плакал практически весь стадион, включая мужчин, плакали телезрители во многих странах мира.

Конечно, общемировой праздник был подпорчен США и рядом послушавшихся их стран о бойкоте Олимпийских игр в Москве. Такое вмешательство политики в спорт было не первым в истории, но именно оно положило начало систематическому использованию этого, прямо скажем, не совсем честного приема политической борьбы.

Я очень люблю Москву. Повторяю за поэтом: «как русский, – сильно, пламенно и нежно!» Но не могу вслед за ним сказать: «как сын». Моя мать – Волга. Астрахань, Ульяновск, Куйбышев (Самара) – десять детских лет и сквозь них – Волга, Волга... Помню вид реки с высоты и кручи Нового Венца в Ульяновске, когда она величаво и плавно шествовала там, внизу, неся покой, умиротворение и

вместе с тем необыкновенную могучесть, удивительную надежность.

Когда мне было лет восемь, мы с отцом поехали из Ульяновска в гости к куйбышевским родственникам. Плыли на парходике под названием «Власть Советов», который преодолел 220 километров за двое (!) суток. Когда миновали расположенный на левом берегу крохотный Ставрополь (будущий Тольятти), отцом овладело беспокойство. Он несколько раз выходил на палубу, вглядывался в берега и вдруг обратился ко мне: «А что, если мы сойдем в Ширяево?» Я мгновенно проникся его желанием и утвердительно кивнул. Из багажа у нас был только небольшой чемодан, поэтому уже через короткое время мы вступили на дорогу, ведущую в родовое село отца. Дорога шла в гору (правый берег Волги), мы легко взбежали по ней к селу, и нам навстречу откуда-то вышел человек в немыслимом картузе, рваной одежде, которая каким-то невероятным образом держалась на нем. Подойдя к нам, он снял картуз и низко поклонился.

– Здравствуй, Илюша! – поприветствовал его отец и шепнул мне, что это местный «дурачок», который есть почти в каждом российском селе. – Ты меня помнишь?

Вопрос был задан неспроста – отец не был в этих местах больше десяти лет. Чело Илюши изобразило огромную работу мысли, после чего он осклабился щербатым ртом и как-то стеснительно сказал «Карпева». Отец радостно обнял Илюшу, ведь тот напомнил ему уличную форму нашей фамилии. Два дня пролетели быстро, отец навещал родственников и знакомых, а я даже успел с местными мальчишками порыбачить с лодки. Ловили мы чехонь, поймали несколько штук, ребята были недовольны – мало, а я во все глаза смотрел на Волгу и даже искупался в ней. Больше мне никогда не довелось быть в Ширяево, но эти два дня запомнились на всю жизнь. Мой хороший друг, ректор Самарского медицинского университета Геннадий Петрович Котельников к одному из моих дней рождения (уже после 70-летия) прислал мне дорогой подарок – большую фотографию, на которой – Волга в районе Ширяева. Лучшего подарка не придумаешь!

А мой самый любимый город – Ленинград. Как-нибудь опишу мое отношение к нему подробнее. А пока скажу только – не приемлю его переименования. Святые для меня понятия – ленинградская блокада, «Ленинградская симфония» Шостаковича, незабываемые, с детства щемящие душу строки Джамбула: «Ленинградцы – дети мои! Ленинградцы – гордость моя!» Никак не получается у меня их переименование.

Также не принимал и не принимаю до сих пор переименования Сталинграда, посягнувшее на священную для народа Сталинградскую битву.

Очень большой след в моей жизни оставила Калуга, «город юности моей», как поется в песне земляка Серафима Туликова. Последний школьный год, по возвращении после окончания института – первая врачебная работа, больше десяти лет партийная деятельность, руководство здравоохранением области. Калуга – это создание семьи, рождение двух дочерей. В Калуге – дорогие сердцу могилы родителей, родственников, друзей. Да, помимо радостей были в этом милом моему сердцу городе и потери, утраты, но они еще сильнее привязывали меня к нему. Правильно писал поэт: «Землю, где воздух как сладкий морс, бросишь и мчишь, колеса! Но Землю, с которой вместе мерз – вовек разлюбить нельзя!»

А Москва... Это нечто особенное, многоликое, неповторимое. Приехав в 1957 году на учебу, я стал одним из многочисленных «понаехавших», и Москва отнеслась ко мне строго и требовательно. Летом следующего года она направила меня на целинные земли в составе одного из первых комсомольских студенческих отрядов.

Условия были суровыми с самого начала: товарные вагоны, движение без расписания, затем долгий 200-километровый путь на грузовиках, установка палаток в чистом поле. Мы пробыли в одном из совхозов Кокчетавской области до середины октября, когда все поля и огромные горы собранного зерна занесло снегом. Обратное ехали в плацкартных вагонах, что показалось нам верхом удобств. На Казанском вокзале, выйдя из вагона, мы увидели толпу встречающих (информации о приезде почти не было, поэтому родственники приходили наугад к каждому поезду). Мы шли – усталые, голодные, помятые, небритые, обросшие, потерявшие весь столичный лоск. Вдруг из толпы встречавших донеслось: «Слава героям-целинникам!». Сначала мы недоуменно оглядывались, ища глазами этих героев. Но, когда прозвучало: «Слава советскому комсомолу!», и вся огромная толпа зааплодировала, мы поняли, что это приветствуют нас. Мы остановились и тоже стали аплодировать. И на душе стало празднично и радостно от того, что Москва нас ждала и помнила о нас.

В 1964 году я уехал из Москвы, казалось, навсегда, но через 23 года столица вновь призвала меня к себе. Это была уже совершенно другая Москва: крикливая, суматошная, неуверенная в себе, качающаяся из стороны в сторону. А потом был август 1991-го, и я, выйдя из

Минздрава СССР на соседнюю Петровку, увидел толпу, возглавляемую молодыми людьми в черных рубашках, и направлявшуюся, как потом выяснилось, сносить памятник Дзержинскому. Москва как будто отделилась от меня, стала чужой, неузнаваемой. И еще последовал декабрь того же года, принесший гибель моей страны. Кошмарные ощущения развала, обвала всего и вся, тупик. А на очереди был октябрь 1993 года. И вновь я на Петровке (институт, в котором я работал, располагался на Петровском бульваре), люди, прячущие глаза, как в ожидании чего-то постыдного, и несколько глухих, но отчетливо слышимых, залпов танковых орудий. Давно это было, но звуки выстрелов до сих пор слышит моя душа.

А потом была Москва лужковская, сумасбродная, отчаянная, опасная для жизни. Но и эта пора миновала. Пришло собянинское время, противоречивое, как вся наша нынешняя жизнь. Невиданный рывок метрополитена, огромное количество современных эстакад, облегчающих жизнь водителям и пешеходам, улучшенные дороги. И при этом – отгалкивающая безвкусица нового строительства, постепенная, но неостанавливаемая утеря специфики московской архитектуры, какое-то судорожное стремление к превращению города в мегаполис, подобный сотням западных образцов. Из города постепенно уходит тепло, человечность, испаряется душа. И все-таки Москва остается единственной, неповторимой, любимой.

В 1994 году группа российских врачей, в которую входил и я, посетила в Калифорнии Национальный парк секвойи. Мы любовались устремившимися в небо гигантскими деревьями и восхищались самой идеей создания этого уникального парка. Наш гид, русский, уехавший в США еще при советской власти и не упускавший ни единой возможности показать правильность его выбора, приобнял за плечи одну из наших – врача из Калуги – и сказал: «Ну, что, Наташа, Америка бьютифул (красивая)?» Наташа ответила искренне: «Бьютифул, бьютифул, конечно!» И добавила: «А Россия бьютифулее!» Гида как волной смыло.

Эта оценка полностью относится к Москве. Она в сердце каждого из нас. Мы часто ворчим, но это, в большинстве случаев, доброе ворчание детей, искренне заботящихся о здоровье, красоте и непреходящей молодости своей матери. Добра тебе, Москва!

#### Адрес автора

К.м.н., заслуженный врач России,  
Карпеев А.А.  
Karpeev\_AA@list.ru